

КОНТИНЕНТ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА



Л. П. Быков,
доктор
филологических наук,
профессор УрГУ

Сын и внук большевиков, родившийся в 1930 году, он был назван Львом – в честь неистового ревнителя мировой революции Троцкого. А через несколько десятилетий именно ему доведется стать вдохновителем и главным редактором «Континента» – журнала, снискавшего репутацию самого антикоммунистического издания на Западе.

Он – это Лев Алексеевич Самсонов, которого читающий мир знает как Владимира Емельяновича Максимова. Таким мальчик стал в детском доме, куда попал вскоре после ареста в 1937-м троцкиста-отца.

В его случае жизнь переписала сюжет гайдаровской «Судьбы барабанщика» по Горькому. Безотцовщина, бездомье, бродяжничество, полублатной мир. Случайные заработки в Закавказье и Средней Азии. Детские колонии. Работа на Крайнем Севере, а после Таймыра и Игарки – на Кубани. Колхозником сельхозартели «Красная Звезда» он и дебютировал стихами в областной газете «Советская Кубань». Потом были годы газетной поденщины.

Начинавший с рифм, в литературу Владимир Максимов вошел как прозаик. В 1961 году в Калуге при поддержке К. Паустовского появился альманах «Тарусские страницы», ставший – наряду с публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» – знаковым событием «оттепельной» поры. В нем рядом со стихами Н. Заболоцкого и М. Цветаевой, Д. Самойлова и Б. Слуцкого, прозой Б. Окуджавы и Б. Балтера, очеркистикой Н. Мандельштам была напечатана максимовская повесть «Мы обживаем землю». И тогда же столичный журнал «Октябрь» опубликовал другую его повесть – «Жив человек».

Первой из них были предпосланы эпиграфом горьковские слова: «Знаю ли я людей...». Люди в этих повестях, как, впрочем, и в последующих созданиях писателя, – всегда с фигуристой судьбой, живу-

щие часто необустроенно, неприкаянно, трудно – как многие в России, но совсем не так, как большинство героев советской литературы тех лет. Они, максимовские персонажи, побуждали вспомнить скорее дореволюционную нашу прозу.

Примечательный по этому поводу разговор состоялся тогда у Максимова с Твардовским. После нескольких лестных для молодого прозаика слов о его рукописях глава «Нового мира», самого приятного в те годы журнала, однако, посетовал: «Разве ваши герои могли бы взять Берлин?» И услышал в ответ: «Мы этот Берлин, Александр Трифонович, два раза брали при крепостном праве».

Такая солидарность автора со своими персонажами была принципиальной: его ранние произведения были откровенно автобиографичными. Главные их герои, в непростых житейских коллизиях лучше узнавая других, лучше узнавали и себя. А для читателя такое человековедение становится и родиноведением, ибо родина – это не столько ведь пространство, сколько его обживающие личности.

Не встретивший полного понимания в «Новом мире», этико-эстетической платформе которого Максимов родственно соответствовал, он неожиданно получил предложение войти в редколлегию «Октябрь» – журнала, который возглавлял убежденный сталинист В. Кочетов. Из дня сегодняшнего удивительным выглядит как сам этот зазыв, так и то, что писатель его принял. Но вот как комментирует эту ситуацию другой тогдашний дебютант – Василий Аксенов: «В шестидесятые годы молодые писатели нашего поколения не чувствовали себя чужаками в советском обществе. Борясь со сталинизмом, мы ощущали себя не антисоветской, а даже как бы просоветской силой. С наивностью, достойной лучшего применения, мы тогда еще полагали сталинизм извращением социализма. Вражда была не окончательной, ибо обще-

ство ошибочно полагалось единым. С этой точки зрения пребывание Максимова в редколлегии «Октября» казалось хоть и странным, но не противоестественным».

Впрочем, длилось оно, это пребывание, недолго. Когда осенью 1968 года руководство «кочетовского» журнала голосовало за резолюцию, поддерживавшую вторжение в Чехословакию войск Варшавского договора, Максимов отказался вписаться в запланированное, по всему, единодушие. И порога этой редакции уже, понятно, больше не переступал. (Попутно напомним, что и Твардовский не примкнул к хору тех «письменников», кто одобрял «мудрые действия» кремлевских «интернационалистов». «Эх, Александр Трифонович, – сокрушался один партаппаратчик, – а мы-то ведь вам собирались присвоить звание Героя...» – «Разве этим званием удостоивают за трусость?» – прервал фарисейские вздохи поэт.)

Новые рукописи Максимова – романы «Семь дней творения» и «Карантин», наткнувшись на цензурное вето, распространялись уже в самиздате, а книгами стали в иноземности. Что обернулось для автора исключением из Союза писателей (в 1973 году), а годом позже – и эмиграцией.

Он уехал из России, когда получил повестку на медицинское освидетельствование по поводу своего душевного здоровья, что вполне реально грозило – при его распространённом не только меж литераторов известном российском пристрастии – заключением в психушку.

Париж спас Максимова человечески и творчески.

Среди написанного им в изгнании выделяются два романа – «Ковчег для незваных» (1979), где создан образ Сталина, раскрываемый через контраст между бытовой заурядностью властителя и сравнимыми с катаклизмами природы трагическими следствиями его политики, и «Заглянуть в бездну» (1986), в котором – тоже непривычно, через историю любви – показана другая историческая персона – адмирал Колчак.

Но главным созданием эмигрантского

двадцатилетия Максимова стал безусловно «Континент».

Издавна так сложилось, что фокусирующим зеркалом отечественной словесности и отечественной действительности была литературная периодика. Толстые журналы, которым трудно найти аналог в зарубежной практике, с дней пушкинского «Современника» и некрасовских «Отечественных записок» воспринимались не просто как страницы с новинками прозы и поэзии, но как общественные ристалища, отражающие и, главное, стимулирующие духовную жизнь национального социума.

Прогрессивные умонастроения «оттепельной» эпохи во многом обуславливали публикации уже упоминавшегося «Нового мира», которые в условиях идеологического зажима отстаивали идеалы культуры и демократии, подтверждая тем самым правомерность содержащегося в европейских энциклопедиях определения интеллигенции как «латинского слова из России, означающего свободно мыслящую часть человечества».

Противостояние лицемерно-бюрократической трактовке общественных перспектив авторы журнала осуществляли с позиций «социализма с человеческим нутром», за что позднее удостоились от А. Солженицына («вырвавшегося на свет», как известно, именно из «новомировского» гнезда) укоров в чрезмерной осторожности, отдающей компромиссностью. Максимализм нобелевского лауреата сегодня разделить нетрудно. И все же учтем и то, что расширение сферы духовной свободы в тогдашних условиях достигалось крайне мучительно и, конечно же, возможности легального в СССР печатного органа не были безграничными. А на исходе 60-х и журнал Твардовского был, по существу, задушен (как ранее была пресечена жизнь и самиздатовского «Синтаксиса» арестом его редактора Александра Гинзбурга, успевшего выпустить три номера этого машинописного журнала).

Возникший спустя пятилетие – осенью 1974 года – за пределами Отечества «Континент» подхватил и в иных условиях развил эту традицию. Идея такого издания возникла у Владимира Емельяновича еще до отъезда из России в разговоре с Владимиром Буковским. «Континент» был задуман



и осуществлен как свободный журнал в свободном мире. Он стал трибуной духовного сопротивления тоталитаризму в самых разных его проявлениях.

В программном материале «От редакции», открывавшем первый номер, подчеркивалось, что «впервые в истории на земле возникла ситуация, когда во всех странах «победившего социализма» от Китая до Кубы, где наконец-то восторжествовали «свобода, равенство и братство», художественная литература, идущая вразрез с идеологическими установками правящего аппарата, преследуется как уголовное преступление <...> Именно поэтому мы видим задачу нашего журнала не только в политической полемике с тоталитаризмом, но прежде всего в том, чтобы противопоставить ему – этому воинствующему тоталитаризму – объединенную творческую силу художественной литературы и духовной мысли Восточной Европы, обогащенных горчайшим личным опытом и вытекающим из него видением новой исторической перспективы».

Тут же обращалось внимание на концептуальную значимость имени нового журнала. Названия периодических изданий зачастую крайне условны, и нередко слова, вынесенные на обложку, не только не подтверждаются, но и опровергаются словами, содержащимися под обложкой, – тому сегодня желторечивый пример хотя бы «Комсомольская правда». А вот подсказанное Максимова А. Солженицыным слово оказалось точным и емким в своей символичности: «Мы говорим от имени целого континента культуры стран Восточной Европы. За нашей спиной раскинулся огромный континент, где господствует тоталитаризм с бескрайним архипелагом жестокости и насилия на всем своем протяжении. И наконец, мы стремимся создать для себя объединенный континент всех сил антитоталитаризма в духовной борьбе за свободу и достоинство Человека. К тому же мы, Восточная и Западная Европа, есть две половины одного континента, и нам надо услышать и понять друг друга, пока не поздно. Имеющий уши да слышит!»

Пожалуй, ни одно заметное лицо из тех, что находились в эмиграции или были представлены в самиздате, не миновало пропис-

ки в этом журнале. Опять-таки символично, что среди авторов дебютного выпуска буквально соседями оказались А. Солженицын и А. Синявский (А. Терц), А. Сахаров и И. Бродский, Людвиг Пахман и Милан Джилас. И эта линия на многоголосие и диалогичность будет последовательно продолжаться публикациями последующих номеров, где будут материалы С. Аверинцева и В. Аксенова, Г. Владимова и В. Войновича, А. Галича и П. Григоренко, С. Довлатова и Ю. Домбровского, И. Елагина и Вен. Ерофеева, Н. Коржавина и Ю. Кублановского, Э. Лимонова и Л. Лосева (вынужден оборвать перечисление).

Для кормчего «Континента» было крайне важно, чтобы писатели и публицисты, ратовавшие за свободу для себя и своих сограждан, имели эту свободу и на страницах журнала: «Мы готовы разговаривать со всеми... Всякий монолог кончается ГУЛАГом». Издание стало ареной обсуждения интересов и взглядов представителей разных народов, конфессий, социальных и эстетических предпочтений. Возникло действительно уникальное издание, где диктат главного редактора ориентировал на реальный плюрализм. Личные разногласия В. Максимова с А. Синявским, или с В. Некрасовым, или с болгарским диссидентом М. Михайловым отнюдь не исключали возможности сотрудничества с ними как с авторами журнала. И даже когда размолвка с тем же Андреем Донатовичем обернулась окончательным разрывом, Владимир Емельянович был готов печатать любые его материалы. Оставляя, естественно, за собой право комментировать их в своей постоянной «Колонке редактора». (Ниже публикуем его соображения о Солженицыне.)

(В скобках заметим, что, человек сколь принципиальный, столь и импульсивный, он мог надолго прервать контакты с давними своими товарищами – что произошло, скажем, в отношении Булата Окуджавы или Юрия Левитанского. Но, как свидетельствует еще один его друг со стажем Юлиу Эдлис, «когда Булату в Америке понадобилась дорогостоящая операция, не кто иной, как Максимов, собирал по всему свету, с бору по сосенке, у бывших соотечественников деньги и собрал нужную сумму, Булата прооперировали. И то же с Левитанским – устроил ему в Германии бесплатную слож-



В. Е. Максимов

нейшую операцию на сонной артерии, и потом Юрий Давыдович еще месяц отлеживался, приходя в себя, в доме Максимова в Брюсселе».)

Культура по определению существует «поверх барьеров», кто бы их ни устанавливал, и располагает именно к диалогизму. Иными словами, к пониманию и сопоставлению позиций друг друга. Эта установка на консолидацию неконформистских усилий, то есть образование того, что позднее получит именование *Интернационала Сопротивления*, подтверждалась и такими постоянными рубриками в публицистическом отделе журнала, как «Запад – Восток», «Восточноевропейский диалог», «Религия в нашей жизни», «Наша почта». Однако при этом редактор не упускал возможности озвучить собственную позицию по вопросам и общим, и персональным. Так, подчеркивая в той же собственной колонке, что Солженицын «задает обществу, нам всем неизмеримо более высокие нравственные и творческие критерии, чем те, из каких мы исходили до него», Максимов вместе с тем считал необходимым предъявить к именитому соратнику «нелицеприятный счет», указав, в частности, на то, что «поставленный вне критики, вне серьезного, взыскующего разговора о его творчестве, писатель незаметно для себя начинает терять нравственные ориентиры и качественные критерии, каким когда-то сам следовал...» (№ 69. С. 326).

Журнал, повторим, не был органом эмиграции. Именно «Континент» первым из русскоязычных изданий задолго до перестройки начал демонстрировать единство отечественной словесности вне деления на «тутошнюю» (в России) и «тамошнюю» (в эмиграции). И именно «Континент» во второй половине 80-х, когда здешнюю периодику захлестнул вал «возвращенной литературы» (то есть той, что журнал В. Максимова публиковал с первых своих номеров), начал привечать литераторов новой плеяды – таких, как Сергей Гандлевский, Алексей Цветков, Тимур Кибиров, Наум Ним, Анатолий Гаврилов, Юрий Малецкий.

Выходивший ежеквартально журнал многие годы делали по сути три человека – редактор, его самоотверженная жена Татьяна Викторовна, а также до эмиграции со-

биравшая памятную по самиздату «Хронику текущих событий» Наталья Горбаневская. Очень выразительно тогдашнее признание последней: «Мы должны, получая статью из Москвы или Нью-Йорка, стихи из Ленинграда или Иерусалима, прозу из Киева или Парижа, каждый раз подумать: “А та самиздатовская машинистка, труд которой мы хотим здесь заменить, – взялась бы она за распространение именно этого?”»

Они хотели и делали очень много, чтобы их читатели чувствовали себя причастными к истории и были прописанными на континенте свободы и культуры. Свободный журнал на русском языке, выходивший за пределами России, говоря о постигших ее недугах, содействовал духовному выздоровлению отечества и потому был вызовом не только тоталитаризму, но и любым проявлениям русофобии. Уместно сослаться на характеристику журнала, данную одним из его авторов, – поэтом и публицистом Н. Коржавиным, который подчеркивал, что «Континент» противостоит всем попыткам превратить Россию и русский народ в козлов отпущения за грехи всей нашей цивилизации, – попыткам не только обидным и несправедливым, но и опасным, ибо внушают всем остальным, что они ни при чем и в безопасности. Приведу в этой связи еще одно признание, сделанное в «Колонке редактора» в 1991 году: «Я, русский писатель Владимир Максимов, сын и внук рабочих-коммунистов, представитель самого большого народа в тоталитарной системе, готов принять и принимаю самую большую часть вины за ее преступления и сделаю все от меня зависящее, чтобы эту вину искупить. Но если мои собратья по несчастью – от грузин и украинцев до евреев и армян – не захотят, каждый в свою меру, разделить со мной эту ответственность, то нам просто не о чем разговаривать. И в таком случае любые разговоры о свободе, демократии, независимости и национальном возрождении я буду вправе считать бесстыдной и самоубийственной демагогией, которая, в чем я убежден, кончится только кровью...» (№ 66. С. 328).

Первые годы журнал финансировался западногерманским издателем Акселем Шпрингером, имевшим в Советском Союзе славу, хуже какой и не придумать. Однако в редакционные дела сей бизнесмен

не вмешивался. С 1991 года «Континент» стал выходить, по выражению А. Солженицына, «на коренной русской территории», где и жили преимущественные его читатели, хотя эти четырехсотстраничные покеты добывались ими нерегулярно и всякий раз не без риска. И, само собой, каждый попавший в Советский Союз экземпляр проходил здесь через десятки рук. Не удивительно, что стартовавшее с семитысячного тиража издание на гребне гласности поднялось до ста тысяч книжек каждого номера. Но вскоре ажиотажная эта волна улеглась, и, как и у всех серьезных журналов, тираж упал до первоначального, а в последние годы колеблется около цифры 3 000.

Отдав журнал в «московские руки», В. Максимов передал руководство им (с № 72) «новомировскому» в прошлом литературному критику Игорю Виноградову, а сам в дальнейшем предпочел выступать как газетный публицист – причем опять-таки на страницах, совершенно не представимых для недавнего вдохновителя «Континента», – в «Правде», в «Советской России». Но происходило такое не от внезапного полевения вчерашнего антикоммуниста, а оттого, что либеральная периодика уклонялась печатать написанные, как всегда, с душевной болью и потому безоглядно резкие в отношении уже новых властителей суждения того, чья позиция была «всегда с побежденными, никогда – с победителями!» Цензура (в изменившихся условиях уже негласная) может быть, как обнаружилось, не только в большевистском мире.

Владимира Емельяновича Максимова не стало в 1995 году. А «Континент», повторим, продолжает выходить. Там находят *буквенный* приют язвительнейшие «Комментарии к событиям российской жизни» Виктора Шендеровича (те, что звучат еженедельно на «Эхо Москвы»). Там публикуются интереснейшие архивные свидетельства (так, в последнем прошлогоднем номере, 134-м, представлена красноречивейшая во всех, вплоть до анекдотичных, отношениях история Гимна Советского Союза, унаследованного, к гражданскому нашему стыду, и нынешней Россией). Там можно прочесть любопытнейшие мемуарные признания (скажем, только что помянутой «Гимнокосмогонии» предшествова-

ла столь же обстоятельная исповедь опального экономиста Андрея Илларионова). Библиографический раздел каждого номера дает содержательнейшие обзоры текущей периодики, где предлагается панорамное освещение не только литературного процесса, но и философской, религиозной, социологической практик. Наконец – или, справедливее, прежде всего – в журнале печатаются достойнейшие этих званий прозаики, поэты, критики (вот имена одного только первого в нынешнем году номера (№ 135): Сергей Юрский, Григорий Померанц, Ольга Седакова, Лариса Миллер, Роман Сенчин, Сергей Шаргунов, Владимир Лукин, Георгий Семенов, Евгений Ермолин...).

И все-таки нынешний «Континент» – это один из журналов. Не менее. Но и не более.

А тот, максимовский, был для своей эпохи единственным.

Железный занавес давно в металлоломе. И, вроде бы, защита политических и прочих свобод перестала быть столь насущной и рискованной, как это было при советском режиме. Но именно *вроде бы*. Вот почему «Континент» продолжает их отстаивать, хотя это уже (еще?) не имеет того резонанса, какой подобные усилия вызывали прежде. И не потому, что сегодня у журнала другие члены редколлегии и другие авторы. А потому, что иные теперь читатели. И не только у «Континента».

«Слово звучит лишь в отзывчивой среде», – констатировал едва ли не первый российский диссидент П. Чаадаев. Ныне, когда страна с незаметной неуклонностью опять превращается в масштабные Апатиты, в условиях тотальной апатии и крепнущей исторической амнезии напоминание о журнале Владимира Максимова представляется весьма уместным. Лишнее (буквально!) тому подтверждение – данные опроса «Имя России», организованного этим летом по стране одним из центральных телеканалов с тем, чтобы назвать олицетворение Отечества. Безусловным лидером оказывается... Сталин, за которого к моменту, когда пишутся эти строки, проголосовало в четыре раза больше моих соотечественников и современников, чем за Пушкина.

Владимир Емельянович об этом, к счастью, не узнает.



В. Е. Максимов

Колонка редактора

Честно говоря, многие годы я считал, что откровенный разговор о Солженицыне до времени неуместен, ибо он не просто отдельная личность или один из писателей, но и в определенной мере персонификация современной отечественной литературы, а может быть, и более того – всей нашей современной истории. По этой причине любой, даже сугубо эстетический разговор вокруг его творчества неизбежно перерос бы в идеологическую полемику, где внелитературные страсти, по естественной инерции сложившейся в нынешнем обществе ситуации, возобладают над профессиональной сутью обсуждаемого предмета. Разрушительные последствия подобной дискуссии для русской литературы нетрудно себе вообразить.

Но тут возникает другая опасность. Прежде всего для самого Солженицына. Поставленный вне критики, вне серьезного, взыскующего разговора о его творчестве, писатель незаметно для себя начинает терять нравственные ориентиры и качественные критерии, каким когда-то сам следовал, что, к сожалению, и происходит сегодня, судя по всему, с искренне уважаемым Александром Исаевичем Солженицыным.

Поэтому такой разговор необходим теперь уже во имя самого писателя, во имя его творческой судьбы, его, если так можно выразиться, гражданского будущего.

И в эмиграции, и в метрополии сложилось достаточно устойчивое убеждение, причем не только у людей пишущих, но и у многих читателей, что Солженицын-прозаик и Солженицын-публицист – это два совершенно разных явления.

Я же считаю, что Солженицын равен себе в обеих этих ипостасях, со всеми вытекающими отсюда приобретениями и потерями. К публицистическим приобретениям, например, я отнес бы «Письмо вож-

дям», «Гарвардскую речь» и «Наших плюралистов», а к досадным потерям – «Как нам обустроить Россию».

Во многом горячо принимая ряд положений этой его последней работы (некоторые из них впрямую перекликаются с моей статьей десятилетней давности «Размышления о гармонической демократии», опубликованной в № 21 «Континента» и в миланской газете «Иль Жорнале», а также с философским эссе покойного Дмитрия Панина «Как нам наладить Россию», тоже обнародованную несколькими годами ранее), я в то же время не могу не отметить ее крайней политической наивности, удручающего многословия и в некоторых частях весьма опасной нравственной бестактности. К примеру, убежден, что делить территории страны, сидя в комфортном вермонтском далеке, – это все равно что заливать керосином уже накаленные угли межнациональной вражды. Реакция на местах по отношению к этой его дележке только подтверждает эту мою нехитрую метафору.

То же самое и с прозой. Подлинно гениальные «Матренин двор» и «Архипелаг Гулаг» мирно соседствуют у Солженицына с весьма скромным по своим литературным достоинствам «Августом 14-го» и основательным, но без подлинного размаха «Ракковым корпусом» и «Лениным в Цюрихе». Что же касается «Красного колеса», то это не просто очередная неудача. Это неудача сокрушительная. Тут за что ни возьмись, все плохо. Историческая концепция выстроена задним умом, а в этом, как известно, мы все в высшей степени крепки. Герои почти на подбор функциональны, вместо полнокровных живых характеров – ходячие концепции. Любовные сцены – хоть святых выноси. Создается впечатление, что об этой материи вообще автор – отец троих детей – наслышан из литературных источников, причем не самого лучшего пошиба. Язык архаичен почти до анекдотичности. К тому же сочетание этого умопомрачительного воляпука с псевдомодернистской стилистикой «а-ля Дос Пассос» (вспомните хотя бы наивно многозначительные «наплывы»!) порождает такую словесную мешанину, переварить которую едва ли в состоянии даже самая всеядная читательская аудитория.

Вообще безусловный минус Солжени-

цына, как впрочем многих прозаиков (в отличие от большинства беллетристов), – отсутствие достаточно объемного воображения. Он беспредельно силен лишь в материале, который пропустил через себя, через свой эмпирический опыт. Свидетельство тому – «Иван Денисович», «Матренин двор» и «Архипелаг Гулаг». Я убежден, что у него получилась бы неповторимая эпопея о Второй мировой войне, но, увы, его привлекала другая, к сожалению, мало подвластная ему тема.

И еще о языке. Язык, по моему глубоко-му убеждению, – естественно складывающийся организм. Радикальное насилие над языком не менее бессмысленно и трагично, чем насилие над человеческим обществом, над самой жизнью. А жизнь, как мудро заметил Борис Пастернак в своем восхитительном «Докторе Живаго», не надо переделывать, она сама себя переделывает. Так обстоит дело и с языком.

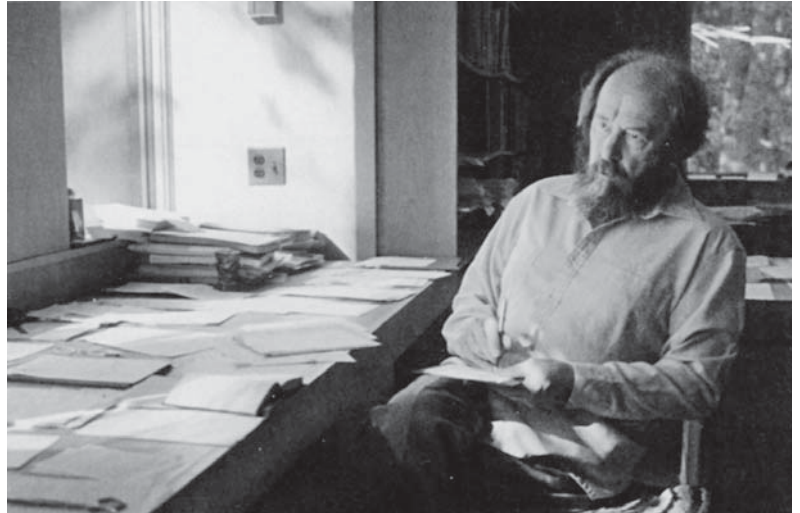
Оставить после себя хотя бы одно новое слово, как это получилось у великого Достоевского со «стушевался» или у посредственного Боборыкина с «интеллигентней», – это уже означает остаться в истории литературы; конструировать же почти всю словесную ткань своих книг из вымерших архаизмов и неподъемных словосочетаний, это вернейший способ авторских самопохорон по первому разряду. Если уж освождаться от советского «новояза», то, по моему, все-таки не по словарю Даля, а по «Сказке о царе Салтане» или по меньшей мере по чеховской «Каштанке». Ко всему прочему, насилие над языком мстит за себя самым грозным для пишущего образом – забвением.

При всех своих новаторских претензиях Солженицын так и выломился из русской литературной традиции и не породил сколько-нибудь заметных эпигонов, ибо для эпигонства он явно малопригоден: слишком огромны художнические задачи, которые ставит перед собой.

Его роль в нашей литературе и бытии иная: он задает обществу, нам всем неизмеримо более высокие нравственные и твор-

ческие критерии, чем те, из каких мы исходили до него. И только это искупает все его промахи и потери.

Без него немыслимо, к примеру, было бы такое явление, как «деревенская проза». Все наши деревенщики вышли из «Матрениного двора», как послепушкин-



ская проза из гоголевской «Шинели», но все же их едва ли можно назвать его эпигонами, настолько они самобытны, подлинны во всех своих проявлениях – художническом, нравственном и гражданском. И конечно же – в языковом. Вот уж кто действительно не нуждается в помощи Даля: слова диктует им сама окружающая их языковая стихия.

Но без Солженицына не состоялось бы в нашей литературе (и не только в литературе!) и многое другое. Поэтому, предьявляя сегодня к нему нелюбезный счет, я тем не менее убежден, что благодаря Солженицыну русская литература, после столь долгого и трагического перерыва вновь заняла подобающее ей место в ряду мировых литератур. Сколько серых мышей нынче на Востоке и Западе вот уже много лет хлопотливо хоронят нашу отечественную словесность! Правда, она, надо отдать ей справедливость, этого не замечает, живет себе и в ус не дует. И это тоже во многом благодаря Солженицыну.

Континент. 1991. № 69